

Василий Водовозов

Старчество



Василий Иванович Водовозов

Старчество

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22801166

Аннотация

««Мертвые никогда не могут быть слишком стары“, – сказал однажды в шутку Беранже, – и в этом, конечно, большое преимущество мертвых перед живыми, которые часто стареют до того, что, наконец, теряют совершенно всякий орган к впечатлениям вечно юной, вечно изменяющейся жизни. Старость многих поколений копится на потомках, и в этом отношении мертвые иногда в самом деле моложе...»

Содержание

Василий Водовозов

Старчество

(с педагогической точки зрения)

«Мертвые никогда не могут быть слишком стары», – сказал однажды в шутку Беранже, – и в этом, конечно, большое преимущество мертвых перед живыми, которые часто стареют до того, что, наконец, теряют совершенно всякий орган к впечатлениям вечно юной, вечно изменяющейся жизни. Старость многих поколений копится на потомках, и в этом отношении мертвые иногда в самом деле моложе. За сто с лишком лет назад Кантемир говорил: «Если бы я, увидев, что кто-нибудь не выпускает из рук часовника и по пяти раз в день побывает в церкви, постится, ставит свечи и не спит с женою, хотя пускает голым бедняка, отняв последнюю у него рубашку, – если б я, увидев такого человека, сказал ему: «Дружок! ты заблуждаешься: этим путем в рай не войдешь, а если заботаешься о спасении души, то возврати несправедливо присвоенное», – он, воспылав гневом, вероятно, ответит мне: «Напрасно, молокосос, суешься с советом». И точно: мне не минуло еще и тридцати лет, еще не поседел ни один черный волос на голове моей. Мне ли в таком возрасте

исправлять седых старцев, которые читают с очками и едва три зуба успели сберечь за губами»¹.

Кантемир, писавший это в 1739 г., был очень молод: таким он остается для нас и доньше, а мы, принужденные через сто двадцать лет повторять подобное, не правда ли, очень стары?

Любопытно, однако, посмотреть, как изменился век с того времени. Мы уже всеми силами восприимчивой русской души придвинулись к Западу, который, несмотря на свою дряхлость, все еще полон для нас плодов и цвету; Петровское окошко стало нам широкою дверью, – вместе с тем изменился во многом и характер нашего старчества.

Не одни только герои о трех зубах (этого, собственно говоря, и не бывает, потому что искусство вставлять зубы достигло ныне высшего совершенства) являются его представителями, но и люди зрелого мужества, и на вид цветущие юноши, и порою даже младенцы. Чтоб читателям не показалось преувеличенным такое утверждение, рассмотрим отличительные черты старчества с педагогической точки зрения. Педагогика как наука, имеющая дело с развитием всех способностей в человеке, укажет нам также, в чем несомненный характер застоя. Мы очень много читали статей, в которых объясняется, что должно делать с детьми для возбуждения в них охоты к ученью; нам также полезно знать, с какими

¹ Слова из седьмой сатиры А. Д. Кантемира «К князю Никите Юрьевичу Трубецкому».

детьми порою имеем мы дело и на сколько способны мы сами быть воспитателями общества. Если в нашей статье встретятся некоторые повторенья уже давно знакомого, то просим извинить. Не думая никого исправлять, мы только следуем примеру педагога, который, сказывают, тем и увещевал своих слушателей, что беспрестанно повторял каждому из них: «Ты, братец, спасал Рим с гусями». Слова эти вошли в поговорку, и воспитанники часто употребляли ее между собою, говоря товарищу, сделавшему какую-нибудь глупость: «Эк, спас Рим!» Каждый из них, наконец, ничего так не боялся, как «спасти Рим».

Старчество выражается:

- а) совершенным притуплением жизненных органов,
- б) стремлением человеческой души ко сну и к покою,
- в) лихорадочной деятельностью, подобной тому, когда больной мечется на смертной постели.

Там, где век и общество требуют от каждого живой, неутомимой деятельности, счастливее многих здоровых людей глухие, слепые, параличные и другого рода убогие люди. Заслуживая наше сострадание, они ни в чем не заслуживают упрека. Способность вечно жить в заколдованном кругу мечты, забывая насущную боль и скуку, послужила бы для них скорее предметом похвалы, чем осужденья. «Бедный человек, – скажут про них, – лишен всего, что дает наслаждение слуху и отраду взору; а между тем посмотрите: ведь нашел

себе утешение!».

Пиндар так описывает остров блаженных: «Там не нужно бороздить силою рук ни земли, ни морской пучины; сладкие ветерки и там лелеют золотые плоды (без золота, как видите, нигде не обойдешься) и все кругом обвито пышными гирляндами цветов». Такова поистине жизнь людей убогих! Чувствуют ли, однако, и они свое горе? Конечно. Но, кроме недуга болезни, есть недуг здоровья, еще более горький и чувствительный. Жажда видеть и слышать, жажда вечного движенья порою истомляют хуже лихорадки. Глухота и слепота избавят как от этих бед, так и от других напастей, проникающих через слух и зрение в сердце человека. Кроме таких людей, живущих поневоле призраками сна, встречаются старцы (какого бы они ни были возраста), которые, по действию окружающего их воздуха или уж по природному миролюбию, никогда не чувствовали потребности быть молодыми, хотя имеют в целости все потребные к тому органы. Тайные тревоги сердца, недовольство собою, страстное увлечение души, способность высоко уноситься по воздуху и спотыкаться на твердом пути, восторг и отвращенье, пламя гнева и неистовый жар любви – весь этот кипучий водоворот юноши – для них застывшая лава. Беспечная веселость вечно сияет в их взорах, и про них обыкновенно говорят: «Добрый человек! Славный малый!» И они действительно так же добры, как старый, расплывшийся пес, который по особенному расположению кухарки Агафьи спит, растянувшись у

печки, неохотно просыпаясь даже, чтоб есть, и никогда ни на кого не лает. Нельзя сказать, чтоб они спали постоянно: напротив, в их движениях иногда заметна даже резвость кота, бегающего весною по крышам; но, кроме этого исключительного признака жизни, все органы их так странно устроены, что предметы, волнующие обыкновенных людей, их несколько не тревожат. Они поедут на похороны так же, как на свадьбу, имея и в первом и во втором случае одну заботу: оценить достойным образом искусство повара. Вас чарует до безумия кокетливый Рейн среди его мрачных скал и замков, веселых сияющих городков и узоров винограда; вас пленяет зелень мирт, лавров и померанцев под лазоревым небом Италии; вам вечно памятна шумная, неугомная, блестящая жизнь Парижа. И они, пожалуй, объедут всю Европу, и вот, в их записной книжке прочтете:

«Майнц. 13-го мая. Отвратительные котлетки!.. сорвали втридорога!.. Прислуживала немка – совершенный габер-суп.

Интерлакен, 5-го июня. Порядочные, однако, подлецы швейцарцы! Наставили по шкапам деревянных игрушек... смотришь: 5 франков, 20 франков... А ведь, черт, соблазнишься, купишь! Ну как не привезти домой детям? Дескать, из-за границы... А у нас ярославский мужик не хуже сделает!

Париж, 6-го августа... Роза! Роза! эх, лакомый кусочек, зато сто франков... ведь не шутка!

Штеттин, 1-е сентября. Ну, слава богу!.. Домой! Как приеду в Петербург, так тотчас дам знать по телеграфу в Москву, чтоб приготовили стерляжьей ухи и самой крутой каши... Просто одолела эта немецкая кухня!»

Может быть, подумают, что эти люди несколько раздражены против общественного зла Европы или заражены скупостью? Нисколько! Они ни разу в жизни ни на что не сердились. В их на вид неприязненных возгласах все та же *bonhomie*² – приветливость и любезность. Взяв с улицы первого попавшегося немца, они напоят его шампанским и потом скажут: «Вишь, бестия! любит погулять на чужой счет...». Но это не помешает им вновь напоить его и вновь над ним посмеяться. Как поступали бы они там, где обстоятельства принудили бы их не на шутку с кем-нибудь ссориться? Странно, что таких обстоятельств с ними никогда не бывало! Еще в школе они терпели единицы, заключение в карцер, толчки товарищей с невозмутимым равнодушием. Учитель, например, разбранит, выгонит из класса, запишет в штрафную книгу. Юноша, обыкновенно довольно рослый, встречая его после этого, раскланивается, как будто ни в чем не бывало и говорит усмехаясь: «А я сидел из-за вас здесь на воскресенье!» – Что ж, приятно? – спрашивает учитель. – «Ничего. Мы целый день играли в бирюльки». – Ну смотрите же! вперед не лениться! – «Как можно! Не буду...»

Эти лица, считавшиеся в школе ни к чему неспособны-

² *Bonhomie* (фр.) – добродушие и простота в обращении.

ми и выключаемые с позором, не окончив курса, каким-то чудом являются в свете довольно видными людьми и часто служат не без успеха. Их любят и дамы, которым бывают они самыми искренними лакеями. Они приняты с отверстыми объятиями как в дружеских кружках, так и в модных собраниях. Услужливость открывает им доступ в сердце каждого, и здесь тайна их успеха. Они, как сказал я, совершенно чужды злобы. Встретясь с тем же учителем, настойчивость которого, может, более всего содействовала к их исключению из училища, они говорят: «Сергей Петрович! здравствуйте... Что? как теперь у вас учатся? А помните, я-то, я-то сколько имел у вас нулей! Ха, ха, ха! Знаете, приходите ко мне... угощу таким шампанским, что век не забудете!» Как не назвать их после этого добрыми малыми? К какой бы партии ни принадлежал, какого мнения ни держался *бы* человек, они со всяким сойдутся, потому что, в сущности, все партии соединяются в стремлении хорошо поесть и пображничать. Затем ли спор о том, полезно или вредно было для России бритье бороды, они будут утверждать, что необходимо носить ее и в то же время уничтожить.

«Какие надежды! какой блестящий успех на поприще гражданственности готовится нашему отечеству! Свободный труд, наконец, получает свое значение в России!» – говорит один из собеседников, только что кончивший курс в университете. «Удивительно! Удивительно! – отвечает Петр Ильич. – Я вам скажу: это эпоха! Мы делаем прогресс... про-

гресс – вот что важно».

«Послушайте, однако, – вмешивается другой, – зачем так увлекаться? Нужно, чтоб это сделалось само собою, постепенно... А то посмотрите, как наш мужик необразован! Скажи ему, что он вольный... он, пожалуй, не будет и оброку платить».

«Да, да, ужасно! – отвечает Петр Ильич. – Не будет платить, и баста!»

Нам, может быть, возразят, что эта услужливость и стговорчивость, собственно, не есть признак старчества, что старцы, напротив того, бывают упрямы, необщительны и брюзгливы. Но мы разумеем здесь одних добрых, незлобных старцев, мы берем, наконец, растение в корне, а не в цветках. Цветки оказываются рано или поздно. Мы видим, как из юношеской лени и вялости возникает совершенная неспособность к какому-нибудь труду; от неспособности является желание устроить жизнь без борьбы, миролюбивым образом; наконец, приходит пора отдохнуть на лаврах: человек женится, толстеет и ограничивает все свои желания сытным обедом и крепким сном после оногo. Нужно ли говорить, что он был когда-нибудь молод? Он в сущности ни в чем не изменился от начала до конца жизни.

Если бы педагогика хотела обратить внимание на этот род старчества, то должна *бы* в значительной мере воспользоваться помощью медицины. Вялость и неспособность детей является то как наследственный порок, то как следствие дур-

ного ухода в младенчестве. Посмотрите на этого ребенка: он едва движется, он до семи лет не приобрел способности говорить и сосет одни леденцы, отказываясь от всякой здоровой пищи. «Больной! – говорят родители. – Не следует бедняжку принуждать... Слава богу, что спит спокойно». И действительно, золотуха, оспа, чесотка попеременно доказывают в нем не малую испорченность крови. Больной и вялый, в десять лет он по-прежнему остается туп и неподвижен. Развивайте его, если у вас достанет на то умения. Напрасное беспокойство! Бабушка, Федосья Кирилловна, разовьет прежде. «Голубчик мой! – скажет она, – замучили тебя этим проклятым учением. Говорила отцу, чтоб берег, так нет – посылает в школу. Поди сюда, мой ангелочек! Вишь, и глазки-то совсем распухли от книг... Поди сюда... На, вот, покушай пряничка, да посиди со мною». А отец тут же при случае прибавит: «Ничего! Не робей, Ваня! Не всем хватать с неба звезды. Вот, есть куда какие умники, да гуляют по городу без места... А ты, дружок, потерпи, да умей всякому услужить, так и тебя никто не обидит. Пусть не бойкого ума, да скажут: доброе сердце!»

Расстанемся, наконец, с этими добросердечными старцами и перейдем к другим, у которых стремление ко сну и неподвижности происходит вовсе не от тупости органов, а есть как будто сознательное, неумолимое преследование избранной идеи. Тут представляются нам особенные трудности в определении типов, потому что типы эти разнообразны до

бесконечности. Мы избираем только немногие.

Вот господин на вид угрюмой, сердитой наружности: из-под сморщенных низких бровей глядят тупо холодным, стеклянным взором глаза; сжатые губы, выдавшийся подбородок и стянутые книзу морщины лица свидетельствуют о затаенной ненависти против света. Да! Господин этот имеет право быть недовольным: он обойден местом, для достижения которого пять лет на роскошных обедах воздерживался от вина и мяса, чтоб заслужить одобрение своего начальника.

Как это случилось, неизвестно, но место получил один молодой человек, вольнодумец, сумасброд, запретивший даже чиновникам приходить к нему с поздравлением в праздник. Это тем обиднее господину: сам готовясь быть отчаянным вольнодумцем по случаю своей неудачи, он вскипел неприемимой враждой против всего молодого поколения. Бессильная ненависть затвердела, окаменела в его сердце, превратившись в какой-то род помешательства. «Разврат! Разврат!» – говорит он и одинаково бранит старину и новый век.

Вот другое лицо не очень важного чина, но очень солидное. Имея с младенчества исключительную любовь к порядку и охранению своей собственности, Сергей Семенович превратился, так сказать, в олицетворенный порядок. Подобно фраку или вицмундиру, и душа его застегнута на все пуговицы от верху до низу. Он держится прямо, говорит медленно и точно не дозволит ни себе ни другим малейшего в чем-либо излишка. Когда чиновник однажды, из усер-

дия окончив ранее обыкновенного дело, принес для доклада, Сергей Семенович с неудовольствием вскрикнул: «Кто вас просил! Вы вовсе не знаете порядку...»

Однажды рассказывал он приятелю о предстоящей поездке своей сестры за границу и чертил пальцем на столе карту, обозначая с точностью каждое место, куда сестра его поедет. Рассказ шел так чинно и так долго тянулся, что гость начал уже засыпать. Сергей Семенович все еще продолжал: «Отсюда... отсюда пароход идет на прямой линии к Толбухинскому маяку... Толбухинский маяк находится вот здесь... Таким образом, пароход идет сюда к Толбухинскому маяку. Потом следует черта, проведенная... проведенная в направлении к острову, который... к этому скалистому острову...» Сергей Семенович приложил палец ко лбу.

Сын его, очень бойкий мальчик, всегда внимательно слушавший, что говорят старшие, не удержался, чтоб не воскликнуть: «Папа! Гохланд...»

«Проведенная в направлении к скалистому острову Гохланду», – продолжал Сергей Семенович и потом, обращаясь к сыну с гневным лицом, протяжно сказал: «Кто тебя спрашивал? Должен молчать, молчать, когда говорят другие. Ступай сейчас в угол и там у меня стой, пока не дозволю сойти с места».

На счет нравственности Сергей Семенович также очень строг; он готов видеть ее нарушение в том, что во время обеда кто-нибудь скатает шарик и кинет, что кто-нибудь гром-

ко заговорит и рассмеется. Современная наука ведет, по его мнению, только к неверию и непокорству; но он не скажет этого прямо, а изъяснится таким образом: «Не понимаю, зачем молодым людям столько учиться, когда в настоящее время главная цель создать полезных отечеству граждан! Следовательно, не знание, а, так сказать, сознание... сознание своего долга должно руководить их шагами при вступлении на службу...»

Однако современная жажда к преобразованиям так сильна, что она коснулась и Сергея Семеновича. Он предложил сделать некоторые улучшения по канцелярии, в которой служил:

1. Подобно входящим и выходящим бумагам, записывать каждого чиновника, обозначая с точностью время его прихода и ухода.
2. Для распространения гласности завести у каждой двери звонок.
3. Натирать полы особенного рода мастикой для придания большего блеску.
4. Устроить из учебных заведений подобие маленьких департаментов и завести между ними переписку для обучения служебному порядку.

Вы, вероятно, знаете Фридриха Карловича? Если не знаете, то я вас познакомлю. Тридцать лет тому назад он пил пиво и распевал песни со студентами разных германских университетов. Написав диссертацию «О значении стрекозы в

древней мифологии», он возвратился в Россию, где и действовал постоянно по учебному ведомству. Нельзя не любить Фридриха Карловича за то, что он питает глубокое уважение к науке, хотя и полагает, что современная наука движется не вперед, а все назад или, лучше сказать, из прежнего исполненного глубины мыслителя становится какой-то разряженной барыней сомнительного поведения. Защищая исключительно специальность, он до сих пор еще продолжает свое исследование о стрекозе и уже начал доказывать, что во многих преданиях средних веков, как, например, о Карле Великом, стрекоза в виде различных символов играла не последнее значение. Так приближается он постепенно к нашему времени. Когда у нас явилась любовь к филологическим исследованиям, и Фридрих Карлович начал вникать, нельзя ли еще извлечь чего-нибудь из стрекозы. Он без труда открыл, что это слово явно разделяется на две части: *стре* и *коза*. Обратившись к нашей мифологии, он также без труда нашел, что первый слог: *стре* или *стри* есть сокращенное «Стрибог», бог стрижения коз. Таким образом, явилась у него мысль для нового рассуждения: «О Стрибоге и о козе». Наконец, при современном движении умов и Фридрих Карлович не хотел остаться бездейственным. Он предполагает составить новую науку под названием «Стрекозология» и по возможности открыть особенные публичные чтения об этом предмете.

Наружность старца, как мы заметили, иногда бывает

очень обманчива. Вы встретите господина в полном цвете лет, который на вид кажется довольно деятелен, говорит важно о пользе науки, упрекает молодое поколение в лени и общество – в эгоизме; а в сущности он первый, как рогатый вол, упрется против какого-нибудь преобразования, служащего залогом общественного успеха. Вы вдруг находите самый сильный отпор там, где его вовсе не ожидали. Покамест общество спокойно, неподвижно, эти лица считаются чуть ли не первыми двигателями; едва начинается малейшее движение вперед, открывается вся сила энергии, заключенная в их натуре.

«Какой успех! – говорят они. – Обрадовались успеху! Ну, так, если угодно, ступайте себе жить в хижину между аркадскими пастушками, а я вам слуга покорный! От идей сыт не будешь. Да и вовсе не наше дело мешаться во всю эту историю: что прикажут, то и будете делать. А я вам скажу, что из этого все-таки ничего не выйдет. Что за нелепая мысль изменять все на новый лад, как будто бы вам за это давали бог весть какие деньги! Ну, хотите показать ваше бескорыстие, так пожертвуйте своим жалованьем для пользы общей и ступайте мостить мостовую на улицу. А нет, так нечего и разглагольствовать об успехах, нечего соваться везде со своим носом! Вы только по пустякам мутите воду!»

Есть такие старцы сатирического направления, которые, не мешая и не противореча никому, мирно плывут на своей ветхой барке по общему течению жизни, заботливо ища мел-

ководья, чтоб не быть увлечену потоком. Быстрота вообще для них не здорова. Но, наблюдая издали смелый ход других лодок и лодочек, дерзающих идти по самой глубине, они выражают несказанную радость, когда эти лодки, в соревновании опередить одна другую, как-нибудь столкнутся и перекувырнутся. Они рады бы и сами содействовать этому; но ветхость дней и боязнь за свою утлую барку не позволяют им пускаться далеко от берега.

«Что, взял! – восклицают они. – Шибко шел, да остался позади... Эка штука! не трудно сломать голову. Нет! ты сумей потихоньку, потихоньку пробраться... А то побегу вперед, обгоню... вот и обогнал! Я, дескать, легок на ходу... мне все нипочем. Я, дескать, укажу еще другим дорогу... Указал! Вот, и сиди на дне с рыбами и кушай уху... небось вкусна!» Так восклицают они, и продолжают барахтаться в болотной траве со своею баркою.

Есть еще нравственные старцы... Но нравственность, как известно, у старцев совершенно особенного рода: она у них подобна цветам, которые производит на окнах морозное, зимнее солнце. Нравственные старцы постоянно жалуются на грубый материализм современного общества, на отрицательный дух века, на эгоистичное направление умов, жаждущих золота, и потому советуют возвратиться к благочестивой старине, к могилам предков. Что касается эгоизма и материального направления общества в некоторых, частных его явлениях, то, конечно, этому нельзя сочувствовать; но об-

щее, целое все-таки говорит в пользу века. Нравственные старцы не хотят понять, что ни в один век не было столько доблестных примеров бескорыстного самопожертвования для идеи, никогда наука не решала столько вопросов, касающихся нравственного развития человечества. Если же личный интерес повсюду связан с общественным, то может ли быть в этом вред, когда победа остается за нравственными началами? Но этим людям нужна, собственно, не нравственность, а мягкая подушка для их больной головы, которую может повредить малейший камешек сомнения. Они обыкновенно хвастают своею доброю; но доброта эта ограничивается тем, что они оказывают помощь родственникам и близким знакомым, ничего не делая для пользы общей.

Но изо всех старцев, которых где-либо найдете, всего милее и любопытнее для исследования разнообразные старцы. Мы их называли так потому, что они действительно, подобно прозрачному камню, отражающему все семь цветов радуги, беспрестанно меняют свой вид. Как в камне, и у них это происходит не вследствие какой-либо внутренней, разнообразно действующей силы, а только чрез отражение. Внутри вы находите совершенно бесцветную, прозрачную и твердую среду, чистейший кристалл, на котором, однако, ничего не пустит корня. Отчего ж все-таки не полюбоваться игрою красок? Вы смотрите и удивляетесь. Вот голубой цвет, совершеннейший цвет невинности! Но старец повернулся – и лицо его озарено розовым сияньем! Еще минута – и самый тем-

ный, мутный цвет, как будто солнце зашло за тучу.

Люди, ищущие во всем глубокой причины, часто совершенно теряются в сомнениях, не зная, как объяснить эти перемены. Но такие люди должны бы, наконец, успокоиться, потому что описанные нами старцы на каждом шагу встречаются в обществе. Кирилл Фадеич еще недавно объяснял, какой старший вред происходит от ученья, как рождает оно самоуверенность в молодых умах и ведет к нарушению общественного порядка. Кирилла Фадеича все сочли человеком отсталым; молодые люди отшатнулись от него подальше. Оказалось, что Кирилл Фадеич хочет издавать журнал с целью проводить современные идеи в общество. Тотчас же собралась около него кучка доверчивых юношей: многие даже ужаснулись его вольнодумства. Но не прошло году, и Кирилл Фадеич, получив новое место, жесточайшим образом распек молодежь в присутствии одного важного начальника за то, что не все тотчас стали навтыяжку. Даже сам посетитель попросил его умерить усердие, говоря, что вовсе не требует такого строгого исполнения формы. Но едва начальник ушел, как Кирилл Фадеич заметил, обращаясь к той же молодежи: «Ну, братцы, избавились... Как гора с плеч... Ведь вот, стой навтыяжку, как пень, а дела не спросят».

В тот же день вечером, бывши в собрании, он так распространялся о современной порче нравов: «Не будет, не будет у нас успеха, пока не искоренят эту двуличность, это лицемерие, с которым человек говорит вам в глаза одно, а за гла-

зами другое».

Иногда высказывается в нем в отношениях к кому-нибудь необыкновенная нежность. Он вас обнимет, поцелует в щеку, глаза засияют слезами от избытка чувства. Тогда берегитесь! Это верный признак, что Кирилл Фадеич или собирается вам нагадить или уже нагадил с избытком. Кирилл Фадеич необыкновенно уступчив в мнениях и свободно дозволяет каждому подавать свой голос; но как-то всегда бывает, что никто не подает его, и все делается по его желанью, а желанье его состоит в том, чтоб ничего не делалось.

«У молодых людей, говорит он, ныне нет никаких убеждений. Грустно смотреть, как живут они совершенно по воле случая, по воле своей мимолетной страсти, которая ежеминутно увлекает их к новым предметам. Нет! По-моему, если ты защитник прогресса, то первый докажи это собственным примером: стой твердо на пути истины, иди трезво и бодро вперед, а главное, заботься о том, чтоб сберечь энергию для благотворной деятельности, сберечь чистым и непорочным свое чувство и просветить ум основательною наукою». Но случись, что кто-нибудь с некоторым упорством будет защищать свои убеждения, и Кирилл Фадеич скажет:

«Вот каковы ныне молодые люди! Едва молоко обсохло на губах, уж каждый суется со своим мнением; уж воображает, что он мудрец, политик, преобразователь! И какие тут убеждения! Не в убеждениях дело, а следует слушать того, кто поопытнее да постарше».

Разумеется, и то и другое будет сказано в приличном случае и при различных обстоятельствах. Если же и случится кому-нибудь словить Кирилла Фадеича в противоречии, то он всегда найдет средство вывернуться, потому что в каждом предмете есть сторона лицевая и изнанка. Как искусный фокусник, он вдруг покажет вам птицу, тогда как вы думали видеть яйцо, а при случае готово доказательство, что птица из яйца же выходит. Самое сомнение на счет своей искренности Кирилл Фадеич сумеет обратить себе в пользу, доказав, что всякий мыслящий человек, чтоб узнать вернее людей, должен испытывать и ту и другую сторону, что ему не следует увлекаться пристрастием к какой-нибудь партии, а во всем сохранять умеренность, осторожность, благоразумие. Из предыдущего уже видно, что Кирилл Фадеич обладает необыкновенным даром слова. И действительно, как древние схоластики, он способен говорить экспромтом длинную речь на какую угодно тему, защищать любую тезу. Это особенно и пленяет слушателей: «А молодец, черт возьми! – говорят они, – откуда что у него родится... Оратор! Совершенный оратор!» Люди уж так устроены, что любят всякий обман, ловко задуманный и исполненный. «Ну, Кирилл Фадеич!.. размазали дело... Славно! Славно! Да вам только и быть дипломатом!» Кирилл Фадеич не прочь от этой похвалы, как видно из его самодовольной улыбки; но сводит тотчас речь в сторону на какой-нибудь нравственный вопрос, чтоб новым впечатлением загладить первое, все-таки не со-

всем для себя выгодное. При этом ораторствует он так красноречиво, что у слушателей выступают на глазах слезы умиления. Бывают, однако, случаи, когда нужно лицо к лицу во всей прямоте души стать пред судом общественным и, сняв маску, сказать определенно, что ты за человек и к чему направлена твоя воля. Суд общественный! Разве возможен он в тех разъединенных кружках, где все происходит домашним, келейным образом, основываясь на первобытных началах семейства и патроната; где самая пестрота и шаткость в мнениях раздробляют до бесконечности голоса и интерес общественный всегда молкнет перед мелким, личным интересом. «Мы собрались в дружную семью» – вот первое и последнее слово таких обществ. Это значит: «Мы будем защищать друг друга, как родственники. Как родственникам, нам принадлежат и все права по наследству. Всякий, принятый в нашу семью, во всем прав и достоин уваженья, а до прочих нам нет дела. Мы уж за своего постоим. Ну, как не порадеть родному человечку!». Следовательно, во имя нежных уз родства тут терпима всякая посредственность и плохость: шелудивому сыну тем более любви и ласки. Если бы кто вздумал в таком обществе сказать беспристрастное слово в пользу успеха, то каждый счел бы это оскорблением собственной личности и воскликнул: «Ты нас выдаешь! Ты изменник!»

Таким образом, немудрено за стенкою семейных отношений, в которых многие являются истинными патриархами, всегда обезопасить себя от нападений крикливой толпы, не

берущей в расчет никакого чувства. Если бы человек, подобный Кириллу Фадеичу, и попал в затруднительные обстоятельства: «сделать прямой выбор», то он сумеет затереть, запутать, затянуть все дело так, что никакой ни юрист, ни судья, ни критик не возьмется решить, справедливо ли было избрать ту, а не другую дорогу.

Я заметил в начале моего очерка, что старчество хуже смерти. И действительно, смерть, по естественному закону, совершенно разлагая тела, служит к оплодотворению юной почвы; старчество же, подобно медленному и скрытому червю, постепенно изъедает все молодые побеги. Физический закон применим отчасти и к нравственному миру. Не нужно, кажется, объяснять читателю, что мы разумеем одно нравственное старчество, и более даже Кантемира готовы питать уважение к седым волосам. Мы знаем из многих примеров, какая живая и юная душа может скрываться под наружную ветхую оболочкой. Таких старцев мы любим и уважаем вдвойне, и если бы захотели приводить доказательства на бессмертные души, то избрали бы их жизнь и деятельность. Мы должны поневоле ограничиться нравственным старчеством, потому что смерть в физическом смысле слова не представляет нам никакой точной аналогии. Нет сомнения, что иногда она была бы очень желательна, по точному смыслу божественного изречения: «Лучше повесить на шею жернов и утонуть в море, чем соблазнить *единого от малых*». Но, к сожалению, вы не встретите совершенно *умерших ду-*

июю старцев. Они все-таки действуют, и деятельность их подобна действию смрадного дыма, проникающего во все поры и отверстия. Какая-то мертвящая атмосфера разлита вокруг них: все дремлет или спит, или сидит неподвижно в толстом коконе. Если же и появится жизнь, то это жизнь инфузорий, мошек, червей в болотной влаге, над падалью, во всех предметах, подвергшихся разложению.

Посмотрим теперь на юношей, на младенцев: не скрыты ли в некоторых из них признаки будущего старчества?

Вот Петенька, милый мальчик, бойкостью которого не могут нахвалиться родители. Он своим маленьким кулаком очень энергически колотил слуг и нянек. Он недавно стянул деньги из стола у отца и растратил их на гостинцы. Когда его стали уличать, то, нисколько не смущаясь, он вынул из кармана оставшуюся мелочь и швырнул в глаза своему педагогу. Отец не удержался, чтоб не сказать: «Энергический характер!» Однако погрозил розгою. Петенька наморщил лоб, вздул губы и неподвижно просидел несколько часов на одном месте. Вскоре его начали учить грамоте. После нескольких уроков произошла самая трагическая история. Учитель, довольно строгий, объяснял склады и требовал безусловно-го внимания. Петя уже несколько раз зевал, мотая головою; наконец, взял карандаш и начал преспокойно чертить им по книге. Учитель вырвал из рук карандаш и ударил слегка по пальцам: «Внимание!» – возгласил он. «Ты драться не смеешь!» – крикнул Петя и, изорвав книгу, прибавил: Вот тебе,

собака!» – «А! Если так, голубчик, – сказал учитель, – то я научу тебя, как обращаться со старшими». И с этими словами, взяв мальчика довольно крепко за руку, потащил к отцу. Петя, разумеется, не уступал, колотя и руками и ногами педагога. На крик его прибежала мать. «Вы хотите убить ребенка, – завопила она. – Вон, злодей, из моего дома!» – и бросилась, согнув клещами пальцы, на злодея, с явной опасностью для его волос, завитых довольно густыми кудрями. Педагог поспешно обратился в бегство.

Мы, конечно, не думаем выставлять здесь искусства педагога в деле обучения, однако желали бы спросить: что будет с Петей, если он останется таким же, как прежде? Угадать не трудно. Преданный одному обжорству, Петя потолстел, обрюзг, поглупел совершенно. Лицо его, с наморщенными вечно бровями, приняло тупое, дикое выражение – и вот он, будущий деятель, на поприще гражданственности!

Нет, однако, сомнения, что из Пети действительно мог бы выйти «энергический характер», если б его развивали с умением. Но на это слишком мало надежды: Петя уже привык ко лжи, к той нахальной, бесстыдной лжи, которая свидетельствует о крайней степени испорченности. В школе силою наказаний его отучили грубить наставникам, но вряд ли исправили. По крайней мере один случай дает повод сильно в этом сомневаться. Случилось, что он утащил у товарища сочинение и выдал за свое. По своей лености он не позаботился даже переписать его, а вырвал только заглавный лист да изма-

рал тетрадь. Обман без труда был открыт, и Петю уличили. Утомясь наказывать, учитель хотел испытать ласку. Он слегка пристыдил его пред товарищами и потом долго увещевал, умолял говорить правду, обещаясь извинить во всем, в чем искренно признается. Не прошло недели, как Петя солгал вновь, и еще нахальнее прежнего. «Это ложь, бесстыдная ложь!» – сказал с негодованием педагог. «Сам ты врешь!» – отвечал Петя в рифму.

Но оставим этого буяна, достойного быть городовым в каком-нибудь людном квартале. Перед нами другие образцы. Сашенька всегда заслуживал похвалу за отличное поведение. Он сидит прямо, не моргнет глазом, не облокотится рукою: в старину непременно посадили *бы* его на первой скамейке, и притом с краю, к дверям, чтобы посетитель увидел тотчас пример благонравия. Сердце наставника замирает от радости при виде такого внимательного юноши. (Сашенька отличается также высоким ростом.) Но увы! Скоро следует разочарованье. Юноша отвечает урок, и на вопрос: «Чем особенно прославились греки?» – говорит: «Древние обитатели Греции были пелазги; после них населяли эллины... эллины... населяли эллины...» Сашенька вообще не любит никаких рассуждений и, где их требуют, обыкновенно про себя замечает: «Чепуха! Черт знает, как тут отвечать? Не поймешь и вопроса!»

Однако все тетради его в отличном порядке. На каждой каллиграфически выведена заглавная надпись: «Сия тет-

радь принадлежит и проч.». Нет ни рисованных фигурок, ни клякс; страницы заложены ленточкой. Сашенька обладает большим искусством письма: выводит ровно, четко строки, и также ровно отлинует поля. Он почти для целого класса переписывает лекции, за что и товарищи оказывают ему взаимную помощь: кто сделает сочинение, кто – арифметическую задачу, кто – перевод. Он в своем деле уже очень развит и говорит, повторяя слова папеньки: «На службе будь только аккуратен, а эти все географии да словесности ни к черту не послужат».

Другой юноша, Степан Игнатьич, *был* сначала очень ленив и туп, хотя и отличался способностью заучивать на память. Кроме этой способности, он имел большую склонность к логике, которую представлял в лицах. Так, накрыв платком одного из товарищей, он спрашивал у другого: «Знаешь ты этого человека?» – «Кто это? не знаю», обыкновенно отвечал тот. – «Ага! Ага! ты не знаешь Иванова, а он сидит подле тебя, на одной лавке!» Так говорил Степан Игнатьич и, сдергивая платок, от души смеялся. Скоро, однако, он получил страсть к более серьезным занятиям. Долгое время бился он, отыскивая в сочинениях Пушкина все тропы и фигуры, названные в риторике; но этот труд оказался ему не по силам. Тогда, избрав предметом занятий греческий язык, он стал составлять из Геродота лексикон ионических слов. Что ж? всякий труд полезен, или, по крайней мере, безвреден. Но беда в том, что Степан Игнатьич, рас-

сказывая всем о своих занятиях, кстати и некстати, утверждает уже, что он пробивает новую стезю в России, и, гордо подымая голову, смотрит с презрением на молодежь, которая кричит об идеях, а между тем не читает Геродота. Вам, вероятно, знакомы юноши *практического* направления? Их так много, что можете выбрать любой образец. Как успели они развиться, установиться так рано в своих понятиях, почти необъяснимо; но эти понятия насели уже твердою корою на юный цвет души – корою, сквозь которую не пробьется ни один молодой стебель. Под словом «юноша» мы привыкли понимать синоним слов: страсть, душа, порыв – кипятик жизни, и во всех увлечениях – чистейшее бескорыстие сердца. Мы вовсе не думаем защищать идеальный бред, ту старинную болезнь, в которой испарялись душевные силы, как в чахоточном недуге; но посмотрите на современных практических младенцев. «Уж ты вечно зубришь!» – скажут они товарищу, выразившему некоторую любовь к труду. «Только и знаешь, что книгу... Нечего сказать, нашел себе утешение! Сиди, сиди... авось дадут похвальный лист – есть, по крайней мере, что показать маменьке: купит тебе конька с сусальным золотом... А мы вот, ничего не делали, да лучше еще твоего отличимся на экзамене: такую разыграем штуку, что любо дорого! Что экзамен? Только бы как-нибудь свалить с плеч да перейти в другой класс, а там опять поехал как по маслу!»

Один из подобных птенцов, несколько постарше, говорит:

«Скоро ли наконец избавишься от этой каторги? С утра до вечера ломай себе голову, а к чему все это поведет, не доберешься никакого толку! Вон брат Николай только и твердит: магистром, магистром хочу! И корпит себе целую ночь над диссертацией. Велика радость! Хорошее место можно получить и без магистра. Что мне, в учителя что ли готовиться? Нет! Уж стара штука: философией меня не заманишь. Как только выйду из училища, сожгу все тетради!»

В разговорах между собою эти младенцы обыкновенно не пропустят случая похвастать хорошим делом. «А я, брат, так разоспался в классе, что даже голова заболела... хочу идти в больницу». Или: «А я, знаешь, списал с прошлогодней тетради и подал: вот как по-нашему!».

Если бы кто из них случайно и приготовил как следует урок, то считает обязанностью оговориться: «Я только раз пробежал с Короткиным; у меня даже нет свой тетради; а ты слышал, как отвечал; просто чудо!» Когда начнут им делать выговор за небрежное ученье, то у них всегда готово оправдание: «Это потому, что я торопился». Или: «Я ведь это отвечал, даже ни разу не прочитавши». Но случись, что наставник не допускает подобной откровенности, то они будут уверять, что страшно работали; только не могли никак понять и усвоить. В последнем случае они иногда были бы и правы, если бы действительно их склонность к труду была чем-нибудь доказана. Многие из них на уроке математики скажут, что не способны к этому предмету и посвятили себя преиму-

щественно словесности, а на уроке словесности – что занимаются исключительно историей; но история идет из рук вон плохо, и они говорят: «Это вовсе не мой предмет... то ли дело словесность!»

Какие же, однако, предметы наиболее возбуждают их сочувствие? Различные практические искусства и науки.

1. Искусства. Они не могут спокойно высидеть в классе, вспоминая, как одна актриса вертела ножкою в балете. Они уже мечтают о чудных похождениях маскарада среди упоительного блеску люстр и нарядов; о глазках мадемуазель Аннет, которые выше всяких описаний Пушкина и Лермонтова. Они с сожалением думают о том, что напрасно тратят время в училище, тогда как могли бы усвоить все тайны бала и мод, изучить всевозможные польки... а равномерно езду верхом, стрельяние в цель, игру в преферанс, искусство завивать и приглаживать волосы и т. д. В последнем, однако, они уже довольно усердно упражняются в училище, и ножницы цирюльника, призываемого начальством, для них ужаснее ножниц Парок, обрезававших жизнь человека: в этом, в одном этом готовы они видеть несовременность и отсталость.

2. Науки. Сюда прежде всего относится гастрономия, составляющая постепенный, довольно обширный курс, начиная от булки и папироски, тайком сохраняемых в классе, до несравненной бутылки клико, для которой, конечно, можно пожертвовать всякой ученостью. Жизнь, жизнь – вот первая наука! А где же и узнать жизнь, как не на гуляньях, не в трак-

тирах и других тому подобных заведениях? К наукам принадлежит также знаменитое: *ars naduvandi*³.

Итак, говоря вообще, все их старание состоит в том, чтобы прослыть опытными, разочарованными во всем, знающими свет и все его проделки. Уже в школе нередко приобретают они ту положительность солидного человека, с которою потом в обществе, живописно развалясь в креслах, трактуют о политике, о правилах жизни, о вреде каких *бы* то ни было увлечений; о том же самом и почти теми же словами они будут толковать до конца жизни.

Знакомы ли вам юноши-дипломаты? Они так умны, любезны, услужливы! Представьте, что к начальнику хоть какого-нибудь пансиона подходит с милою улыбкою один из питомцев, отличающийся прекрасными манерами, опрятностью, скромностью, и говорит: «Позвольте мне, Александр Николаевич, переписать для вас упражнения, которые вы составили: у папеньки есть отличный писарь... Я велю выбрать самой тонкой веленовой бумаги и сделать бархатный переплет с золотою виньеткой». – «Да зачем это? Не беспокойтесь, – отвечает начальник, – писарю, вероятно, и без того есть дело». – «Нет, право! Папенька не любит, что они гуляют целый вечер и на другой день приходят такими сонливыми. Право, Александр Николаевич! Ваша доброта, ваши

³ *Ars naduvandi* – шутовское выражение – искусство обманывать, надувать. Составлено Водовозовым из латинского слова *ars* – искусство и русского слова *надувать* с лат. окончанием.

ласки, которых мы не знаем, как заслужить... уж позвольте: это и папеньке будет очень приятно». – «Хорошо, хорошо. Благодарю вас, – отвечает начальник. – А что? как поживает ваш папенька?» – «Слава богу! – говорит юноша. Только вот одно... нет! уж не скажу: мне совестно... вы и без того так добры, что... что, право, не знаю...» – и юноша прикладывает руку к сердцу. – «Скажите же, что такое? Будьте, пожалуйста, со мной откровенны». – «Вот видите, Александр Николаевич! К нам приехала тетенька из Москвы: всего на два дня... Папенька хотел меня ей представить и сказал: «Ну, просись сам, если хочешь видеть тетку. Я бы очень, очень желал, чтобы ты пришел домой хоть на несколько часов вечером; но уж не могу и не смею утруждать доброго Александра Николаевича. Просись сам: если отпустят, так ладно». Вот и мне хотелось бы угодить папеньке: только я знаю сам, что ведь этим нарушается порядок. – «Да», – отвечает протяжно начальник, более всего, конечно, пекущийся о строгом соблюдении порядка; но вместе довольный покорностью юноши. «Однако напрасно папенька сам не приехал попросить, если это так нужно». – «Да ведь он, Александр Николаевич, очень занят; притом, право, не смел утруждать вас». – «А у вас завтра какие уроки?» – «Чистописание, рисование, география... из географии задано повторять: я знаю отлично». – «Полно, так ли?» – «Александр Николаевич, – говорит несколько обиженный юноша, – разве я осмелился бы когда-нибудь вас обманывать? Угодно вам спросить? Я

готов отвечать сию минуту». – «Хорошо. Так и быть: ступайте... только к девяти часам возвратиться непременно». Юноша низко раскланивается и в восторге убегает одеваться.

Он возвращается в училище очень поздно, и когда дежурный спрашивает: «Что это, батюшка, загуляли?» – говорит: «Сам Александр Николаевич отпустил меня». На другой день он отказывается от всех уроков, между которыми были самые трудные, как-то: математика, физика, немецкий язык. Когда преподаватели допытываются, отчего он не приготовился, юноша отвечает: «Я был дома. Спросите Александра Николаевича: он сам отпустил меня».

Наконец, однажды встретившись с отцом, начальник узнает, что ни тетеньки никакой не приезжало, ни юноша не являлся дома. Он призывает виновного на расправу и энергически говорит ему: «Ну, скажите, с чем сравнить ваш поступок? С чем? Даже последний зверь, и тот не лжет! Даже собака, птица, рыба, и те чувствуют благодарность; а вы? Скажите, можно ли к вам после этого иметь хоть какое-нибудь доверие?» Юноша стоит смиренно, опустив глаза; на ресницах даже выступили слезы, и он говорит плачевно: «Я не стою, Александр Николаевич, не стою, чтобы со мной обходились так ласково... я хуже самого последнего зверя, потому что зверь не лжет... Я сознаюсь в этом, Александр Николаевич!.. Вы говорите, что зверь не лжет, и я понимаю, цену слова ваши...».

«Бог с ним! – думает про себя начальник. – Маленькая

шалость не беда: у него при всем том доброе сердце, да и родители просили не слишком строго взыскивать».

Мы привели здесь пример несколько идеальный; но если бы захотели в подробности пересказывать все маленькие школьные плутни, то исписали бы несколько печатных листов. Плутни эти, составляя сами по себе иногда прощительную детскую шалость, в массе обращаются часто в какое-то особенное направление, которого идея находит своих сознательных последователей. Вы иногда услышите, как один из наиболее способных юношей скажет: «Хлопочут о развитии!.. Нет ничего проще – пусть только дозволят надувать; в надуванье-то ум более всего и развивается». Другой, в свою очередь, будет доказывать, что надувать, во всяком случае, полезно, когда и тот, кого надули, остается вполне доволен, и тот, кто надул, избегает больших неприятностей. Третий уверит вас, что без надуванья никогда ничего не выиграешь.

Следовательно, идея (или искусство) надуванья, как идея полного развития, уже вытесняет собою всякие другие идеи, а с ними и возможность какого-либо нового усовершенствования; неподвижность, один из главных признаков старчества, в какой бы разнообразной форме она ни являлась, всегда застигает человека там, где он думает, что раз навсегда разрешил все задачи жизни.

Случалось ли вам встречать старичков, которые вечно чего-то ищут, вечно бегают хлопотливо то туда, то сюда, пу-

тая всякое дело? Они строят, чинят, ломают по двадцать раз одно и то же. Вот нужно бы сделать новые обои в комнате: старичок сам бежит на рынок, обходит все лавки, пересматривает всевозможные образчики; по часу толкует с каждым купцом, важно взвешивая все его замечания и мучая бесконечными расспросами; к великой досаде купца оставляет лавку, ничего не купив; потом призывает на дом обойщиков, беседует с каждым по целым утрам и отсылает их, говоря: «Еще подумаю». И он начинает думать о том, как *бы* славно было переделать все замки в дверях, все ящики в комодах. Происходят новые совещания со слесарями; но уже все ремесленники в олодке знают нашего старичка, и никто не идет на зов его. Посмотрите, как бегают он у себя дома, как ломает голову, отыскивая ключ, который спрятал к себе в карман, чтобы потом найти легче. Но ключ найден, и тогда новая забота: «Эй, Иван, поди-ка купи мне гвоздиков». – «Да зачем вам, барин, гвоздики?» – «А вот хочу приколотить эти картинки: посмотреть, как выглядят». И он бьется целых три часа, приколачивая к стене картинки; потом велит снять их и вновь укладывает в портфель.

Так деятельны эти старички; но ясно, что деятельность их ни к чему не служит. Они как будто чувствуют близость смерти и на зло природе хотят доказать, что еще неумолимо бодры и молоды. Подобно безнадежно больному, они ежеминутно меняют свою прихоть, истощая последние силы на то, чтобы увериться хотя в малом остатке жизни, в них догора-

ющей. Но нет сомнения, что жизнь, беспорядочно расточаемая, тратится тем скорее.

Молодость! молодость! неужели и на тебе должна лежать эта печать разрушения? Или избыток сил вызывает эту потребность вечных перемен, вечного движения? Да! не склоним в бессилии чела; но в самую тяжкую минуту поднимем его бодро: будем жить так, чтоб при самой двери гроба еще мечтать и сохранять надежду на его исполнение! Пускай опущенный занавес прекратит драму еще в полном разгаре. Нет! мы не думаем осуждать подвижность души, как неоценимый признак ее свежести и силы. Но увы! молодость наша такой цвет, который, вырастая слишком быстро, истощает весь корень: ветви тянутся, бледнеют; листья мельчают и вянут. Долгая зима изнуряет их, а весна губит.

Страшная участь постигала многих из наших деятелей: их молодость была после мгновенного блеску и шуму улетевшая струйка дыма! Вот с полною отвагою вступает юноша в свет: сколько идей кипит в нем! – и он действует. «Труд! труд и наука прежде всего», – говорит он. «Но с чего начать? Электромагнетизм, Платон или «Эстетика» Гегеля – все равно: все одна и та же наука!» Юноша читает две, три глубокомысленных немецких страницы, потом закрывает книгу и думает: «Как, однако, трудно понять! но на первый раз и этого довольно. Дай лучше напишу статью о значении германской философии: к нашему стыду мы так мало ее изучали». И он пишет заглавие: «О значении германской фи-

лософии» – потом начинает ходить и обдумывать: «Трезор! ісі... – восклицает он, обращаясь к собаке, мирно лежавшей под столом. – Трезор!» Трезор со вниманием уставил глаза, но не двигается с места. «Гулять! Хочешь, дурак, гулять, а?» Трезор приподнял уши. «Однако нужно немного пройтись, – продолжает юноша, – еще успею заняться... Трезор! viens...» – и прежде чем барин успел сделать несколько шагов, собака уже скреблась о двери, возвращалась и прыгала на него, заступая дорогу.

Юноша отправился гулять на Невский, где, тихонько подуськивая Трезора на некоторых на вид не слишком горделивых дам, очень тешился тем, как собака их пугала. Он зашел мимоходом к мадемуазель Эрнестине, которая жила одна со своею маменькой и занималась рукодельем. Он уже встретил там товарища, поверенного всех своих тайн и такого же ревнителя в деле науки. Товарищ тотчас предложил ему поставить на общий счет бутылку шампанского. «Только это будет очень долго, – отвечал юноша. Мне, право, некогда: я теперь читаю *Гегеля*». – «Ну тебя... с Гегелем! – восклицает товарищ. – Поверь мне: мудрость на дне стакана!» – и юноша поневоле остается. Друзья пьют и между шутками беседуют о своих планах. «Знаешь, Федя! – говорит приятель: – Мы с тобою наверно прославимся. Ты будешь ученым и поэтому, а я сочиню роман в прозе. Слышишь, не смей писать романов: мадемуазель Эрнестина поручила мне изобразить ее жизнь от самого рождения и до первой нашей встречи на

Обуховском проспекте. Она столько страдала, столько страдала. Видишь, к ней даже сватался какой-то гусар; но в самый день свадьбы она как-то об этом забыла, уехав гулять с одним студентом». – «Послушайте, – отвечает девица, – вы слишком много себе позволяете: я не из таких, чтоб мне можно говорить всякий вздор».

Проведши очень весело час, другой времени, юноша возвращается домой обедать. Тут вновь припадает у него ревность к занятиям. Но чем заниматься после обеда? Феденька (пусть так зовут нашего юношу) берет один из журналов и, пропуская ученые статьи, начинает читать повесть. Тотчас же является у него самого мысль для повести в современном вкусе: молодой человек, одаренный пылом страстей и энергиею воли, ищет деятельности; но свет повсюду его отталкивает, и он углубляется в самого себя в диком одиночестве – вот содержание. Феденька тотчас же исписывает без отдыха целый почтовый лист – ну! день не пропал даром. Хотя повесть никогда не суждено окончиться, но уже и за доброе начало можно присудить себе награду. Феденька кладет перо и предается мечтаниям. «Ах! – думает он, – если бы найти женщину с могучею, пламенною душою, женщину, которая готова была бы бежать с вами хоть на край света! Стоило бы только сказать – и она явится, и вот тут сядет со мной на диване... Я вот так лежу, и она наклонится ко мне, и глядит таким страстным, умиленным взором, между тем как я рассказываю о поэзии, читаю стихи или так что-нибудь со-

чиняю». Питая эти думы, он выкурил до десяти папиросок и наконец вспомнил, что давно не посещал одного семейства, где процветала Наденька, бывшая некоторое время его идеалом. Уже давно написаны были им стихи, назначенные ей в альбом. Теперь отыскал он их и вновь перечел с восторгом. «Надежда! какое прекрасное имя. – сказал он. – Нет: я пересоздам эту девушку, я заставлю понимать себя». И наш герой тотчас отправился пересоздавать Наденьку. Наденька встретила его своим обыкновенным, неизменно веселым и равнодушным взглядом. «Что это вы совсем пропали? – сказала она. Уж не влюблены ли?» – «Нет! – отвечал Феденька. – А у вас все любовь на устах, только нет ее в сердце». – «У меня сердце сделано из гранита, – отвечала со смехом девушка, – ничем не проймешь. Отчего ж, скажите, вы так долго не были?» – «Я все занят, просто даже голова идет кругом: теперь читаю Гегеля».

– «Ну, уж вы вечно с вашей физикой!» – заметила Наденька.

– «Гегель *был* знаменитый германский философ и не писал никакой физики», – отвечал насмешливо Феденька. – «Вот уж теперь философия! Час от часу не легче... А сами прежде говорили, что занимаетесь физикой!» – «Философия важная наука», – начал Феденька и стал доказывать, как глубока и многозначителен Гегель. Он тут кстати распространился и о том, что женщине предоставлена высокая цель в жизни, что она не понимает своего назначения, когда ду-

мает только о нарядах да о хозяйстве. «Благодарю вас покорно, – сказала Наденька. – По-вашему, женщина должна корпеть над книгой... Куда как весело! Читать философию... Ха! ха! воображать физику... чудесно! чудесно! Еще нет ли там какой-нибудь науки!» – «Женщина еще лучше мужчины могла бы проводить идеи в общество».

– Идеи? – отвечала Наденька. – Ну, уж с идеями-то не примут ни в каком порядочном обществе. Вон, Катя Стрелева вечно с идеями: то пришпилит какой-нибудь необыкновенный бант, то пойдет гулять и забудет взять перчатки: так над нею все и смеются!

Этот маленький спор не нарушил несколько дружелюбных отношений между противниками: глазки Наденьки так мило играли, что нельзя было не простить ей некоторого равнодушия к идеям. В разговор скоро вмешалась и ее маменька, которая, услышав спор, пришла посмотреть, не поссорились ли молодые люди. «Да! да! – сказала она. – Надя права. Наша молодежь уж ни в чем не знает умеренности. Вот и мой племянник... ходит такой бледный, изнуренный, потерял аппетит, а все от науки! Хотят все хватать с неба звезды, а лучше подумали бы о том, как устроить жизнь: поберечь себя, да прикопить на черный день копейку».

Стихи, написанные в альбом, Наденька прочла с умилением; но по складам и таким бесчувственно-холодным тоном, как будто дело шло о счете магазинщицы. Впрочем, мы ошиблись: счет магазинщицы, вероятно, был бы про-

чтен с изъяснением сильного чувства. Все-таки она сказала Феденьке: «Вы поэт! Вас надо увенчать лаврами!» – и это несколько успокоило его самолюбие. Он возвратился уже поздно домой и, засыпая, думал: «День все-таки не пропал даром!»

Такова вся деятельность некоторых из юношей: признаки ли в ней старчества или молодых еще неустановившихся сил – мы решать не беремся. Параллель, проведенная нами между старцами-хлопотунами и этими юношами, не совсем верна; но есть сходство в том, что и там и тут видна совершенная бесплодность труда, и там и тут есть желание наполнить чем-нибудь жизнь, которая уплывает, подобно воде, собираемой в решето; и там и тут, несмотря на внешний вид движения, господствует явная неподвижность, которую можно бы сравнить с грезами лихорадочного сна, когда человек, лежа на постели, воображает, что ходит, бежит, летит!

Мы могли бы привести еще бесконечное множество примеров на все виды старчества, но уже довольно и этих. «Довольно, говорит читатель, довольно! Видим, что вы не любите старцев; но скажите, что сами вы за птица? Нельзя ли из той же самой сатиры Кантемира применить к вам рассказанного о раке? Мать стыдила молодого рака, что ходит криво. «Поди, матушка, сама прямо, – отвечал он, – тогда я поучусь у тебя».

Добрый читатель! И вы, и молодой рак совершенно спра-

ведливы в своем требовании. Но дело общее не может быть частным; прежде чем наставлять других, всем бы нам нужно спросить: ходим ли всегда прямо?